



ОРЕСТ ГОЛОВ

**СКАЗКИ,
ЛЕГЕНДЫ,
ИСТОРИИ**

Орест Сомов

Сказки, легенды, истории

«Остеон-Групп»

1830

Сомов О. М.

Сказки, легенды, истории / О. М. Сомов — «Остеон-Групп» ,
1830

ISBN 978-5-00064-274-0

Орест Сомов вошел и в историю русской журналистики, и в историю отечественной фольклористики, его никак нельзя причислить к забытым деятелям пушкинской поры. Но известен он сейчас более своим участием в литературных предприятиях эпохи, нежели как творческая личность. К тому же, как это ни парадоксально, Сомова-критика знают лучше и перепечатывают чаще, чем Сомова-художника, автора стихов и прозы. Между тем этот скромный писатель – участник не тех пиршеств ума и таланта, которыми богата эпоха 1820-х – 1830-х гг., а ее будничной, повседневной жизни – оставил свой след в истории формирования русской прозы. В этой книге представлены прекрасные сказки Ореста Сомова, в которых действуют русалки, ведьмы и лешие, разудалые казаки и гайдамаки; сказки эти преисполнены таинственности, волшебства и... реализма. В сказках Сомова – об Укроме-табунщике, об Иване, купецком сыне, о дурачке Елесе («В поле съезжаются, родом не считаются») – бросается в глаза интерес автора к героическим сторонам народного характера, причем вершителем подвига оказывается у Сомова Иван русской сказки, о котором никто не знал, не слышал, пока не пришла беда – лихие ли половцы или лесное чудовище.

ISBN 978-5-00064-274-0

© Сомов О. М., 1830
© «Остеон-Групп» , 1830

Содержание

Об авторе	5
Оборотень	8
Кикимора	15
Бродящий огонь	21
В поле съезжаются, родом не считаются	22
Киевские ведьмы	23
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Орест Михайлович Сомов

Сказки, легенды, истории

Об авторе

(Статья из Русского биографического словаря Половцева)



О.М. Сомов (1793–1833)

Орест Михайлович Сомов происходил из древнего дворянского рода, родился в Харьковской губернии в 1793 г. Воспитывался в Харьковском университете, основательно знал древние языки и хорошо владел немецким, итальянским и особенно французским языками. В 1819–1820 г. Сомов был за границей, о чем свидетельствуют письма его из Парижа, напечатанные в «Сыне Отечества» 1820 г. (ч. 66, № 51), «Благонамеренном» 1820 г. (ч. X, No XI, стр. 348 и сл.) и в «Трудах Вольного Общества любителей Российской словесности» 1820 г. (ч. X, стр. 357–370), в котором он был в это время уже действительным членом. Писать Сомов начал рано: в «Украинском Вестнике» 1816 г. (ч. I, стр. 354–356) напечатано уже его стихотворение «П.?. Т-ву, при доставлении ему прекрасного стихотворения г. Жуковского: Певец в стане русских воинов»; в том же журнале за 1817 и 1818 гг. он поместил несколько своих стихотворений и

переводов с французского и итальянского языка. С этих пор Сомов, еще в 1819 г. избранный в члены Общества любителей словесности, наук и художеств и переселившийся в Петербург, стал ревностным сотрудником почти всех выходивших в то время журналов. Он жил исключительно литературными работами, нигде не служа; только с 1824 по 1826 г. он занимал место столоначальника в Главном Правлении Российско-Американской компании, где правителем канцелярии был в это время К. Ф. Рылеев, с которым Сомова связывали дружеские отношения. Не обладая чересчур большим литературным талантом, Сомов был, однако, весьма добросовестным, знающим и любящим свое дело работником. Перечислить все его произведения не представляется здесь возможности, вследствие большого их числа; они находятся в следующих повременных изданиях: «Соревнователь просвещения» 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823 и 1825 г.; «Благонамеренный» 1818–1823, 1826 г.; «Невский Зритель» 1820, 1821 г.; «Вестник Европы» 1822 г.; «Сын Отечества» 1823, 1824, 1825 г. (ч. 101, № 10: «Мои мысли о замечаниях г. М. Дмитриева на комедию „Горе от ума“ и о характере Чацкого»), 1827 г. (ч. 116, стр. 78–80 — о Баратынском), 1828, 1829 г.; «Украинский Журнал» 1824 г.; «Московский Телеграф» 1825 и 1829 г. (ч. 25, № 2: «Хладнокровные замечания на толки гг. критиков Истории Государства Российского и их соперников»); «Северная Пчела» 1826–1829 и 1833 г., где он был одним из деятельнейших сотрудников Булгарина; «Северный Меркурий» 1830 г.; «С.-Петербургский Вестник» 1831 г.

Из альманахов Сомов сотрудничал в «Полярной Звезде» Бестужева и Рылеева, 1823 г., «Литературном Музеуме» 1827 г. («Приказ с того света. Повесть»), «Опыте российской анфологии» СПб. 1828 г., «Деннице» 1830 г., «Царском Селе» 1830 г., «Комете Белы» 1833 г., «Альбоме Северных Муз» 1828 г., «Сиротке» 1831 г., «Альционе» 1832 и 1833 гг., «Невском Альманахе» 1827, 1829 и 1830 гг., «Новоселье» 1831 г. (ч. I), «Русском Альманахе» 1832 г. (сказки: «О Никите Вдовиниче» и «В поле съезжаются, родом не считаются»), «Утренней Звезде» 1833 г. и «Подснежнике» 1829 и 1830 гг.; сам он, вместе с бар. А. А. Дельвигом, а потом самостоятельно, издавал известный альманах «Северные Цветы» (с 1827 по 1832 г.).

Во всех этих изданиях Сомов писал и под своею фамилиею, и под псевдонимами: Порфирий Байский, Житель Галерной Гавани, Карасев, Осетров, Таранов-Белозеров, Житель Васильевского Острова и др. Работая в журналах различных литературных партий, Сомов в 1830 г. сделался, вместе с Дельвигом, редактором «Литературной Газеты», перейдя из сотрудников Булгаринской «Северной Пчелы», где работал два года в качестве постоянного сотрудника, — в орган противоположной партии, сгруппировавшейся около Пушкина, с которым он был хорошо знаком и который в общем относился к Сомову дружелюбно, ценя в нем добросовестного и преданного делу литератора. Когда умер Дельвиг, Сомов непродолжительное время продолжал издание «Литературной Газеты», которая и до того лежала почти на нем одном. Вращаясь в кружке Рылеева и Бестужева-Марлинского, Сомов после событий 14-го декабря 1825 г. был арестован по подозрению в участии в делах тайного общества, но скоро освобожден и объявлен к заговору непричастным.

Сомов скончался в Петербурге 27-го мая 1833 г. и погребен на Смоленском кладбище.

По словам близко знавшего его Греча, Сомов «отличался в словесности нашей не блистательными творениями, по основательным познаниям и большою деятельностью. Он был бесспорно из лучших переводчиков наших (если не лучший) с французского и итальянского языков. Сомов почти один из писателей наших был литератор и делом, и званием, что во Франции называется „un homme de lettres“¹. . . . Бесперывные письменные работы, не по вкусу и не по выбору, а по необходимости и по требованию других, отвлекли его от самостоятельных произведений, потемнили его воображение, иссушили телесные силы, расстроили здоровье и в цвете лет низвели в могилу». Литератор по призванию, Сомов, однако, не оставил после себя каких-

¹ Т. е. букв. «человек письма».

либо крупных произведений; но почти все, что он писал, носило на себе признаки некоторого дарования, а такие рассказы и повести его из быта и истории Малороссии, как «Юродивый», «Гайдамак» (напечатана в «Звездочке» 1826 г.), «Невском Альманахе на 1827 г. и перепечатана в „Русской Старине“» 1883 г., т. XXXIX, стр. 86—100), «Русалка», «Оборотень», «Ночлег Гайдамаков», «Сватовство», «Киевские ведьмы» и др. (напечатанные в разных журналах и альманахах), казались некоторым его современникам до того сходными с украинскими повестями Гоголя, что Н. Полевой приписывал последние, на первых порах появления их, Сомову.

Отдельно изданы Сомовым следующие произведения и переводы: «О Романтической поэзии. Опыт в 3-х статьях», СПб. 1823 – неудачная попытка разобраться в современных направлениях изящной русской литературы и определить понятие слова «романтизм»; «Три нравоучительные повести для детей» и «Майский подарок детям для обоего пола», с 10 карт. СПб. 1830; «Разбор речи о Российской Словесности, читанной в Марсельском Атенее князем Э. П. Мещерским», СПб. 1831; «Голос украинца при вести о взятии Варшавы» (под псевд. «Порфирий Байский»), СПб. 1831; «Новые французские и российские разговоры, составленные по образцам, находящимся в сочинениях лучших новейших писателей и разделенные на 150 уроков, пересмотренные и исправленные Авг. де-Сентомом и О. Сомовым», СПб. 1827, изд. 3 – 1837, изд. 4 – 1840, изд. 5 – 1844 г.; «Друг молодых девиц, или новые повести, служащие к образованию их склонностей, ума и сердца», соч. Бульи, 2 ч., СПб. 1831, перев. с франц.; «Награда добродетели и благонравия»; «Новые сказки для юношества обоего пола», соч. Бульи, перев. с франц. с В. Бурнашевым, СПб. 1835; «Записки полковника Вутье о нынешней войне Греков», 2 ч., СПб. 1824–1825; «Новые повести, сочиненные и поднесенные детям Герцогини Беррийской», соч. Бульи, 2 ч., на франц. и русск. язык., СПб. 1826; «Наваринская битва, или Ренегат. Историч. роман», соч. Мока, перев. с франц., СПб. 1831. Вместе с упомянутым выше Авг. С.-Тома, он перевел на французский язык, под наблюдением автора, IX том «Истории Государства Российского».

Б. Гарский.

Оборотень

Народная сказка

«Это что за название?» – скажете или подумаете вы, любезные мои читатели (какому автору читатели не любезны!) И я, слыша или угадывая ваш вопрос, отвечаю что ж делать! виноват ли я, что неусыпные мои современники, романтические поэты в стихах и в прозе, разобрали уже по рукам все другие затейливые названия? Корсары, Пираты, Гяуры, Ренегаты и даже Вампиры попеременно, одни за другими, делали набег на читающее поколение или при лунном свете закрадывались в будуары чувствительных красавиц. Воображение мое так наполнено всеми этими живыми и мертвыми страшилищами, что я, кажется, и теперь слышу за плечами щелканье зубов Вампира или вижу, как «от могильного белка адского глаза Ренегатова отделяется кровавый зрачок». Напуганный сими ужасами, я и сам, хотя в шутку, вздумал было поугаждать вас, милостивые государи! Но как мне в удел не даны ни мрачное воображение лорда Байрона, ни живая кисть Вальтера Скотта, ни даже скрипучее перо г. д'Арленкура и ему подобных, и сама моя муза так своевольна, что часто смеется сквозь слезы и дрожа от страха; то я, повинувшись свойственной полу ее причудливости, пушу слепо мое воображение, куда она его поведет. Скажу только в оправдание моего заглавия, что я хотел вас подарить чем-то новым, небывалым; а русские оборотни, сколько помню, до сих пор еще не пугали добрых людей в книжном быту. Я мог бы вместо оборотня придумать что-нибудь другое или подменить его каким-либо лихим разбойником; но все другое новое, как я уже имел честь доложить вам, разобрано по рукам другими, а в книжных наших лавках залегли теперь такие большие шайки разбойников – не всегда клейменых (по крайней мере клеймом гения), но всегда печатных, – что если б мыши и моль не составили против них своей Santa Hermandad, то от них не было б житья порядочным людям.

Я думал написать это вступление в виде разговора кого-нибудь из моих приятелей с кем-нибудь из моих неприятелей, но побоялся, что меня тотчас уличат в подражании; а признаюсь, мне не хотелось бы прослыть подражателем... Свое, господа мои сподвижники на поприще бумаги и перьев, станем творить свое! Я хочу вам подать похвальный пример и для того вывожу напоказ небывалого русского оборотня.

В одном селении... Вы, добрые мои читатели, верно, не спросите, как называется это селение, в какой губернии и в каком уезде лежит оно. Удовольствуйтесь же тем, что я вам буду рассказывать, и не требуйте от меня лишнего.

Итак, дослушайте ж...

В одном селении жил-был старик по имени Ермолай. Все знали, что он умывается росой, собирает разные травы, ходя, беспрестанно что-то шепчет себе в длинные, седые усы, спит с открытыми глазами и пр. и пр. Чего же больше? он колдун, и злой колдун: так о нем толковало все селение. Надобно сказать, что селение было раскинуто по опушке большого, дремучего леса, а изба ермолаева была на самом выезде и почти в лесу. Ермолай сроду не был женат, но лет за пятнадцать до того времени, в которое мы с ним знакомимся, взял он к себе приемыша, сироту, которого все сельские крестьяне называли прежде бобылем Артюшей; а теперь, из уважения ли к колдуну, или по росту и дородству самого детины, стали величать Артемом Ермолаевичем: подлинного его отца никто не знал или не помнил, а и того больше никто о нем не заботился.

Артем был видный детина: высок, толст, бел и румян, ну, словом, кровь с молоком. И то сказать, мудро ли было колдуну вскормить и выхолить своего приемыша? Крестьяне были той веры, что колдун отпоил Артема молоком летучих мышей, что по ночам кикиморы чесали

ему буйную голову, а нашептанный мартовский снег, которым старик умывал его, придавал его лицу белизну и румянец. Одного добрые крестьяне не могли добиться: каким образом старый Ермолай, так сказать, переродя Артема из тощего, бледного мальчишки в дородного и румяного парня, не научил его уму-разуму? ибо Артюша был прост, очень прост: молвит, бывало, что с дуба сорвет, до сотни не сочтет без ошибки и не всегда, бывало, впопад ответит, когда у него спросят, которая у него правая рука и которая левая. Он так нехитро смотрел большими своими серыми глазами, так простодушно развешивал губы и так смешно переплетал ногами, когда случалось ему бежать, что сельские девушки подсмеивали его исподтишка и шепотом говаривали про него: «Красен как маков цвет, а глуп как горелый пень». В селении прозвали его вислогубым Краси́ком, и все это не вслух, а тайком от колдуна, потому что все боялись обидеть его в лице его приемыша.

И то, однако ж, многие начали смекать, что злой старик догадывается о насмешках поселян над его нареченным сыном. В селении вдруг начал пропадать мелкий рогатый скот: у того из поселян – не явится пары овец, у другого трех или четырех коз, у третьего пропадут все ягнята. Пастухи не раз видали, как из лесу вдруг выбежит большой-пребольшой волк, схватит одну или пару овец, стиснет им горло зубами, взбросит их к себе на спину – и был таков: мигом умчит их к лесу. Сколько ни кричи, ни тюкай – он и ухом не ведет; сколько ни трави собаками: они поплетутся прочь, поджав хвосты, и робко озираются назад. Крестьяне тотчас взяли догадку, что это не простой волк, а оборотень; вслед же за этою догадкой пришла к ним и другая: что этот оборотень не иной кто, как сам Ермолай Парфентьевич.

Делать было нечего. Все боялись колдуна, хотя, сказать правду, до сих пор он не делал еще никакого зла селению; но все-таки он был колдун. Жаловаться на него – у кого найдешь расправу, когда и сам священник отрекался заклать его? Самим его dokonать – грешно, хоть он и колдун; притом же эти дела так пахнут торговой казнью и ссылкой, что у всякого невольно руки опустятся. Да и кто знает, что после смерти не станет он приходить из могилы мертвецом и душить уже не овец, а людей, которые озлобили бы его преждевременным отправлением на тот свет? Как ни раскладывали крестьяне умом, сколько ни толковали на мирской сходке, э, все дело не клеилось. Пришлось им стать в тупик, горевать, здкуся губы, да молиться святым угодникам за себя и за стада свои.

В селении том жила красная девушка, Акулина Тимофеевна. Лицо у нее было, что наливное яблочко, очи соколиные, брови соболиные – словом, она уродилась со всеми достоинствами и приманками красавиц, о которых перешли к нам достоверные предания в старинных русских песнях и сказках. Одна она никогда не смеялась над простаком Артюшей, а напротив того еще заступалась за него между своими подругами и уверяла их, что он детина хоть куда. Лукавая девушка смекнула, что старик Ермолай очень богат и очень стар, что жить ему на свете оставалось недолго и что после него единственным наследником его имущества должен быть Артем Ермолаевич. Она так умильно поглядывала на Артема, так ласково говорила ему, встречаясь: «Здравствуй, добрый молодец!», что Артем, как ни был прост, а все заметил ее приветливость. Часто он, избочась и выступая гогаем, подходил к ней и заводил с нею речи – грех сказать: умные, а такие, которые, видно, нравились красавице и на которые она охотно отвечала. Короче: Акулина Тимофеевна скоро заслужила всю доверенность нелюдима Артюши: он еще чаще стал подходить к ней, облизываясь и с глупым смехом выкрикивая: «Здорово, Акуля», отвечивал ей дружеский удар тяжелой своею ладонью по белому круглому плечу и таял пред нею... Да, таял, в полном смысле слова, потому что щеки его делались еще краснее, глаза еще мутнее и глупее, а багровые губы никак уже не сходились между собою и становились час от часу толще, час от часу влажнее, как вишня, размокшая в вине. Девушка стала уже не шутя подумывать, как бы ей пристроиться: то есть, с помощью обручального кольца да честного венца, прибрать к рукам и Артема и будущие его пожитки.

К ней-то, наконец, смышленные крестьяне обратились с просьбою помочь их горю. «Ты-де, Акулина Тимофеевна, в селе у нас умный человек; а нам вестимо, что благоприятель твой Артем Ермолаевич с неба звезд не хватает, хоть и слывет сыном такого человека, у которого в седой бороде много художества. Порадей нам, а мы тебе за то чем по силам поклонимся. Одной только милости у тебя и просим: как бы досконально проведать, подлинной ли то волк душит наших овец или это – не в нашу меру будь сказано – Ермолай Парфентьевич оборотнем над нами потешается?» Акулина Тимофеевна молчала несколько времени, покачивая в раздумье головушкой: с одной стороны, боялась она прогневить колдуна, который знал всю подноготную; с другой стороны, манили ее подарки... а кто к подаркам не лаком? Спросите у стряпчих, спросите у судей, спросите у того и другого (не хочу называть всех поименно): всякий если не словами, так взглядом припомнит вам старую пословицу: кто богу не грешен, царю не виноват! И Акулина Тимофеевна была в этом смысле ежели не закоснелой грешницей, то, по крайней мере, не совсем чиста совестью. Она подумала-подумала – и дала крестьянам обещание похлопотать об их деле.

На другой день, встретясь с Артемом, больше прежнего была она с ним приветлива и ласкова, и больше прежнего таял бедный Артем: щеки его так и пылали, губы так и пухли. Умилно потрепав его по щеке полненькими своими пальчиками, плутовка сказала ему:

– Артюша, светик мой! молвила бы я тебе словцо, да боюсь: старик твой нас подметит. Где он теперь?

– А кто его вест! Бродит себе по лесу словно леший, да, тово-вона, чай дерет лыка на зиму.

– Скажи, пожалуйста: ты ничего за ним не примечаешь?

– Вот-те бог, ничего.

– А люди и невесть что трубят про него: что будто бы он колдун, что бегают оборотнем по лесу да изводит овец в околотке.

– Полно, моя ненаглядная: инда мне жутко от твоих речей.

– Послушай меня, сокол мой ясный: ведь тебя не убудет, когда ты присмотришь за ним да скажешь мне после, правда ли, нет ли вся та молва, которая идет о нем по селу. Старик тебя любит, так на тебя и не вскинется.

– Не убудет меня? да что же мне прибудет?

– А то, что я еще больше стану любить тебя, выйду за тебя замуж и тогда заживем припеваючи.

– Ой ли? да что же мне делать-то?

– А вот что: не поспи ты ночь да примечай, что старый твой станет кудесить. Куда он, туда и ты за ним; притаись где-нибудь в углу или за кустом и все высматривай. После расскажешь мне, что увидишь.

– Ахти! страшно! Да еще и ночью. А когда же спать-то буду?

– Выспишься после. Зато уж как женою твоею буду, ты, мой голубчик, будешь спать вволю. Тебя не пошлют тогда ни дрова рубить, ни воду таскать: все я за тебя; а ты себе, пожалуйста, поваливайся на печи да покушивай готовое.

– Ладно! будь по-твоему: стану приглядывать за моим стариком. Да скажи, он мне бока-то не отлощит?

– Не бойся ничего: он не узнает; а какова не мера, так я сама принесу ему повинную и скажу, что тебя научала.

– Ну, то-то, смотри же! чур, не выдавать меня.

– И, статимо ли дело! прощай же, дружочек.

– Ин прощай, моя любушка!

При всей своей простоте, Артем не вовсе был трус: он уважал и боялся названного своего отца, а впрочем, по слабоумию ли, по врожденной ли отваге, не мог себе составить понятия о

страхах сверхъестественных. Может быть, и старик, воспитывая его в счастливом невежестве, старался удалять от него всякую мысль о колдунах, недобрых духах и обо всем тому подобном, чтобы не внушить ему каких-либо подозрений на свой счет и не заставить его замечать того, в чем нужно было от него таиться.

Наступила ночь. Артем, по обыкновению, лег рано в постель, укутался с головою; но не спал и прислушивался, спит ли старик. С вечера было темно; старик ворочался в постели и бормотал что-то себе под нос; но когда взошел месяц, тогда Ермолай встал, оделся, взял с собою какую-то вещь из сундука, стоявшего у него в изголовье, и вышел из избы, не скрипнув дверью. Мигом Артем был тоже на ногах, накинул на себя балахон и вышел так же тихо. Притаясь в сених, он выглядывал, куда пошел старик, и, видя, что он отправился к лесу, пустился вслед за ним, но так, чтобы всегда быть в тени... Так-то и самый простодушный человек имеет на свою долю некоторый участок природной тонкости и употребляет его в дело, когда нужно ему провести другого, кто его посильнее или похитрее. Но довольно о тонкости простаков: посмотрим, что-то делает наш Артем.

Лепясь вдоль забора, прокрадываясь позадь кустов и, в случае нужды, ползучи по траве как ящерица, успел он пробраться за стариком в самую чащу леса. Середь этой чащи лежала поляна, а середь поляны стоял осиновый пень, вышиною почти вполчеловека. К нему-то пошел старый колдун, и вот что видел Артем из своей засады, которою служили ему самые близкие к поляне кусты орешника.

Лучи месяца упали на самый сруб осинового пня, и Артему казалось, что сруб этот белелся и светился как серебряный. Старик Ермолай трижды обошел тихо вокруг пня и при каждом обходе бормотал вполголоса такой заговор: «На море Океане на острове Буяне, на полой поляне, светит месяц на осинов пень: около того пня ходит волк мохнатый, на зубах у него весь скот рогатый. Месяц, месяц, золотые рожки! расплавь пули, притупи ножи, измочаль дубины, напусти страх на зверя и на человека, чтоб они серого волка не брали и теплой бы с него шкуры не драли». Ночь была так тиха, что Артем ясно слышал каждое слово. После этого заговора старый колдун стал лицом к месяцу и, воткнув в самую сердцевину пня небольшой ножик с медным черенком, перекинулся чрез него трижды таким образом, чтобы в третий раз упасть головою в ту сторону, откуда светил месяц. Едва кувырнулся он в третий раз, вдруг Артем видит: старика не стало, а наместо его очутился страшный серый волчище. Злой этот зверь поднял голову вверх, поглядел на месяц кровавыми своими глазами, обнюхал воздух во все четыре стороны, завыл грозным голосом и пустился бежать вон из лесу, так что скоро и след его простыл.

Во все это время Артем дрожал от страха как осиновый лист. Зубы его так часто и так крепко стучали одни о другие, что на них можно было истолочь четверик гречневой крупы; а губы его, впервые может быть от рождения, сошлись вместе, сжались и посинели. По уходе оборотня он, однако ж, хотя и не скоро, оправился и ободрился. Простота, говорят, хуже воровства: это не всегда правда. Умный человек на месте нашего Артема бежал бы без оглядки из лесу и другу и недругу заказал бы подмечать за колдунами; а наш Артем сделал если не умнее, то смелее, как мы сейчас увидим. Он подошел к пню, призадумался, почесал буйную свою голову – и после давай обходить около пня и твердить то, что слышал перед сим от старого колдуна. Мало этого: он стал лицом к месяцу, трижды кувырнулся через ножик с медным черенком и за третьим разом, глядь – вот он стоит на четвереньках, рыло у него вытянулось вперед, балахон сделался длинною, пушистою шерстью, а задние полы выросли в мохнатый хвост, который тащился как метла. Дивясь такой скорой перемене своего подобию и платья, он попробовал молвить слово – и что же? вместо человеческого голоса завыл волком; попытался бежать – новое чудо! уже ноги его не цеплялись, как бывало прежде, друг за друга.

Новый оборотень не мог говорить, но не лишился способности рассуждать, то есть столько, сколько он обыкновенно рассуждал в человеческом своем виде. Мне, признаться,

никогда не случалось слышать, чтобы оборотни в волчьей шкуре становились умнее прежнего. Вот наш Артем остановился и призадумался, как ему употребить в пользу и удовольствие новую свою личину? Тут ему пришла мысль, достойная того, в чьей голове она зародилась: он вспомнил, как часто молодые парни их селения над ним смеивались. «Давай-ка, – думал он, – посмеюсь и я над ними: пойду утром в селение и стану бросаться на всякого... как же эти удалыцы будут меня бояться! Однако ж прежде попытаюсь-ка выспаться: в этой шубе мне будет и тепло и мягко даже на сырой траве...» Вздумано – сделано: наш Артем, или оборотень, забрался снова в кусты орешника, лег и заснул крепким сном.

Долго ли спал он, не знаю наверное; только солнце было уже очень высоко, когда он пробудился. Он встряхнулся, посмотрел на себя, и новый его наряд при дневном свете так показался ему забавен, что смех его пронял: он хотел захохотать – но вместо хохота раздался такой пронзительный, отрывистый волчий вой, что бедный Артем сам его испугался. Потом, опомнясь и видя, что он пугается собственного смеха, он захохотал еще сильнее прежнего, и еще громче и пронзительнее раздался вой. Нечего делать: как ни смешно ему было, а поневоле должно было удерживаться, чтоб не оглушить самого себя. Тут он вспомнил о вчерашнем своем намерении – потешиться над своими сверстниками, молодыми сельскими парнями. Вот он и пошел к селению. Дорогою попадались ему крестьяне, ехавшие в поле на работу; каждый из них, завидя издали смелого, необыкновенной величины волка, никак не подозревал, чтоб это был простак Артем; все думали, что то был точно оборотень, – только отец его, старый колдун Ермолай. Оттого каждый крестился, закрывал себе глаза руками и говорил: чур меня! чур меня! Это еще и больше веселило простодушного Артема, еще больше поджигало его идти в селение; никогда, никто его столько не боялся, как теперь: какая радость! Да то ли еще будет в селении? как все всполошатся, крикнут: «Волк!» – станут его травить собаками, усыкать, тюкать, соберутся на него с копьями и рогатинами, а он и ухом не будет вести: его ни дубина, ни железо, ни пуля не возьмет и собаки бояться... То-то потеха!

И в самом деле, все селение поднялось на серого забияку, Сперва встречные бежали от него, крестьянки поскорее заперли овец и коз своих в хлева, а сами запрятались в подушки: все знали, что то был не простой волк. Скоро, однако ж, нашлись удалыцы, крикнули по селению, что один конец должен быть с старым колдуном, и повалили толпою: кто с дубиной, кто с топором, кто с засовом – обступили волка и давай нападать на него. Сначала он храбрился, бросался то на того, то на другого, щетинился, скалил зубы и щелкал ими; но наконец робость его одолела: он знал, что, в силу заговора, его не убьют и даже не наколотят ему боков; но могут ошипать на нем шерсть, оборвать хвост, и тогда – как он явится к строгому своему отцу в разодранном балахоне и с оторванными полами? Беда!

Правда, не нашлось еще смельчака, который бы вышел с ним переведаться: все усыкали, кричали только издали, а ни один не подавался вперед. Собак же и вовсе не могли скликать; они разбрелись по конурам и носов не выказывали. Зато люди все стояли в кругу и прорваться сквозь них никак нельзя было. Еще новое горе бедному нашему оборотню: он ничего не ел от самого вечера и желудок его громко жаловался на пустоту. Как быть? и кто поручится, что отец его уже не в селении и не узнает о его проказах? Ахти! вот до чего доводит безрассудство! он и забыл посмотреть, каким образом отец его получит свой человеческий вид! Ну, придется горюну Артему умереть с голоду или исчахнуть с тоски-кручины в волчьей коже... Он задрожал всеми четырьмя ногами, упал, свернулся в комочек и уключил голову промеж передних лап.

Крестьяне рассуждали, что им делать с оборотнем: зарыть ли его живого в яму или связать и представить в волостное правление? В это время слух о трусости оборотня разнесся уже по селению, и женщины отважились показаться на улице. Одна девушка пришла даже к кругу, составленному крестьянами около мнимого волка: эта смелая девушка была Акулина Тимофевна. Она тотчас смекнула дело, просила крестьян расступиться, вошла в круг и повела такую умную речь:

– Добрые люди! не дразните врага, когда он сам, как видно, оставляет слово на мир. Смертью оборотня вы добра себе немного сделаете, а худа не оберетесь; в судах же, я слыхала, так водится, что и оборотень с деньгами оправится почище всякого честного бедняка. Послушайтесь меня: разойдитесь с богом по домам, а этого оборотня я поведу к себе и ручаюсь вам, что вам же от того будет лучше.

Все крестьяне слушали в оба уха и дивились уму-разуму красной девицы. Никто из них не придумал умнее того, что она говорила: они послушались ее речей и расступились в разные стороны. Тут она выплела из косы своей цветную ленту и подошла к оборотню, который в это время потянулся и сам вытянул шею, как будто бы знал, что затевала девушка.

Акулина Тимофевна обвязала ему ленту вокруг шеи и повела его к себе в дом. По простоте и робости оборотня она тотчас отгадала, кто он таков. Введя его в пустую клеть, она накормила его, чем могла, и постлала ему в углу свежей соломы; потом начала его журить за безрассудную его неосторожность. Бедный Артем жалким и вместе смешным образом сморщил волчье свое рыло, слезы капали из мутно-красных его глаз, и он, верно бы, заревел как малый ребенок, если бы не побоялся завывать по-волчьи и снова взбудоражить всю деревню. Девушка заперла его замком в клетки и оставила его отдыхать и горевать на свободе.

Вечером Акулина Тимофевна пошла к старику Ермолаю, кинулась ему в ноги, рассказала ему, что сама знала, и сняла всю вину на себя. Старый колдун уже знал обо всем, сердился на Артема и твердил: «Ништо ему, пусть-ка погуляет в волчьей коже!» Но просьбы и слезы печальной красавицы были так убедительны и красноречивы, что старик и сам почти от них растаял. Он заткнул за пояс известный уже нам ножик с медным черенком, взял жестяной фонарик под полу и пошел с девушкой. Вошедши в клеть, прежде всего порядком выдрал уши мнимому волку, который в это время делал такие кривлянья, каких ни зверю, ни человеку не удавалось никогда делать, и выл так звонко и пронзительно, что чуть не оглушил и старика, и девушку, и всю деревню. Вслед за сим наказанием колдун обошел трижды около оборотня и что-то шептал себе под нос; потом растянул его на все четыре лапы и колдовским своим ножиком прорезал у него кожу накрест, от затылка до хвоста и впоперек спины. Распоротый балахон упал на солому, и в тот же миг Артем вскочил на ноги, с открытым своим ртом, простодушным взглядом и очень, очень красными ушами. Отряхнувшись и потершись плечами о стену, он со всех ног повалился на землю перед нареченным своим отцом и, всхлипывая, кричал жалким голосом: «Виноват, батюшка! прости». Старик отечески потазал его снова, пожурил – да и простил.

Акулина Тимофевна очень полюбилась старому Ермолаю: он заметил в ней природный ум и расчел в мыслях, что лучше всего дать такую умную жену его приемышу, который, после его смерти, живучи с нею, по крайней мере не растратит того, что старому сребролюбцу досталось такою дорогою ценою – то есть накопленных им за грехи свои червончиков и рублевичков.

Короче: дня через три вся деревня пировала на свадьбе Артема Ермолаевича с Акулиной Тимофевной; и хотя все знали, что старик Ермолай злой колдун, но от пьяной его браги и сладкого меду немногие отказывались. Скоро после того Ермолай продал свою избу и поле и перешел вместе с молодыми, названным сыном и невесткою, в какую-то дальнюю деревню, где дотоле и слыхом про него не слыхали. Сказывают, что он провел остальные годы своей жизни честно и смирно, делал добро и помогал бедным, зато умер тихо и похоронен как добрый на кладбище с прочею усопшею братией. Сказывают также, что Артем, пожив несколько лет с умною и сметливою женою, сделался вполовину меньше прежнего прост и даже в степенных летах был выбран в сельские старосты. Каково он судил-рядил, не знаю; а только в деревне все в один голос трубили, что Акулина Тимофевна была чельшко изо всех умных баб.

Эпилог

Многие той веры, что после всякой сказки, басни или побасенки должно непременно следовать нравоучение; что всякое повествование должно иметь нравственную цель и что все печатное должно служить для общества самым спасительным антидотом от пороков. Как вы думаете об этом, любезные мои читатели, и какое нравоучение присудите мне прибрать к этой истинной или, по крайней мере, очень правдоподобной повести? Что до меня касается – я ничего не умел к ней придумать, кроме следующего наставления, что тот, у кого нет волчьей повадки, не должен наряжаться волком. Нравоучение близкое и ясное, и кажется – если, впрочем, самолюбие меня не обманывает, – оно ничем не хуже того, которое покойник Ломоносов, вечно-лирической памяти, прибрал к своей басне «Волк пастух»:

*Я басню всю коротким толком
Хочу вам, господа, сказать
Кто в свете сем родился волком,
Тому лисицей не бывать*

Кикимора

Рассказ русского крестьянина на большой дороге

– Вот видите ли, батюшка барин, было тому давно, я еще бегивал босиком да играл в бабки... А сказать правду, я был мастер играть: бывало, что на кону ни стоит, все как рукой сниму...

– Ты беспрестанно отбиваешься от своего рассказа, любезный Фаддей! Держись одного, не припутывай ничего стороннего, или, чтобы тебе было понятнее: правь по большой дороге, не сворачивай на сторону и не режь колесами новой тропы по целику и пашне.

– Виноват, батюшка барин!.. Ну дружней, голубчики, с горки на горку: барин даст на водку... Да о чем бишь мы говорили, батюшка барин?

– Вот уже добрые полчаса, как ты мне обещаешь что-то рассказать о Кикиморе, а до сих пор мы еще не дошли до дела.

– Воистину так, батюшка барин; сам вижу, что мой грех. Изволь же слушать, милостивец!

Как я молвил глупое мое слово вашей милости, в те поры был я еще мальчишкой, не больно велик, годов о двенадцати. Жил тогда в нашем селе старый крестьянин, Панкрат Пантелеев, с женою, тоже старухою, Марфою Емельяновною. Жили они как у бога за печкой, всего было довольно: лошадей, коров и овец – видимо-невидимо; а разной рухляди да богатели и с сором не выметешь. Двор у них был как город: две избы со светелками на улицу, а клетей, амбаров и хлебных закромов столько, что стало бы на обывателей целого приселка. И то правда, что у них своя семья была большая: двое сыновей, да трое внуков женатых, да двое внуков подростков, да маленькая внучка, любимица бабушки, которая ее нежила, холила да лелеяла, так что и синь порошу не даст, бывало, пасть на нее. Все шло им в руку; а все крестьяне в селе-нии готовы были за них положить любой перст на уголья, что ни за стариками, ни за молодыми никакого худа не вживалось. Вся семья была добрая и к богу прибежная, хаживала в церковь божию, говела по дважды в год, работала, что называется, изо всех жил, наделяла нищую братию и помогала в нужде соседям. Сами хозяева дивились своей удаче и благодарили господа бога за его божье милосердие.

Надобно вам сказать, барин, что хотя они и прежде были людьми зажиточными, только не всегда им была такая удача, как в ту пору: а та пора началась от рождения внучки, любимицы бабушкиной. Внучка эта, маленькая Варя, спала всегда с старою Марфой, в особой светелке. Вот когда Варе исполнилось семь лет, бабушка стала замечать диковинку невиданную: с вечера, бывало, уложит ребенка спать, как малютка умается играя, с растрепанными волосами, с запыленным лицом; поутру старуха посмотрит – лицо у Вари чистехонько, бело и румяно как кровь с молоком, волосы причесаны и приглажены, инда лоск от них, словно теплым квасом смочены; сорочка вымыта белым-бело, а перина и изголовье взбиты как лебяжий пух. Дивились старики такому чуду и между собою тишком толковали, что тут-де что-то не гладко. Перед тем еще старуха не раз слыхала по ночам, как вертится веретено и нитка жужжит в потемках; а утром, бывало, посмотрит – у нее пряжи прибавилось вдвое против вчерашнего. Вот и стали они подмечать: засветят, бывало, ночник с вечера и сговорятся целою семьею сидеть у постели Вариной всю ночь напролет... Не тут-то было! незадолго до первых петухов сон их одолеет, и все уснут кто где сидел; а поутру, бывало, смех поглядеть на них: иной храпит, ущемя нос между коленами; другой хотел почесать у себя за ухом, да так и закачался сонный, а палец и ходит взад и вперед по воздуху, словно маятник в больших барских часах; третий зевнул до ушей, когда нашла на него дрема, не закрыл еще рта – и зачоченел со сна; четвертый, раскочавшись, упал под лавку, да там и проспал до пробуду. А в те часы, как они спали, холенье и

убиранье Вари шло своим чередом: к утру она была обшита и обмыта, причесана и приглажена как куколка.

Стали допытываться от самой Вари, не видала ли она чего до ночам? Однако ж Варя божилась, что спала каждую ночь без просыпу; а только чудились ей во сне то сады с золотыми яблочками, то заморские птички с разноцветными перышками, которые отливались радугой, то большие светлые палаты с разными диковинками, которые горели как жар и отовсюду сыпали искры. Днем же Варюша видала, когда ей доводилось быть одной в большой избе, что подле светелки – превеликую и претолстую кошку, крупнее самого ражего барана, серую, с мелкими белыми крапинами, с большою уродливою головою, с яркими глазами, которые светились как уголья, с короткими толстыми ушами и с длинным пушистым хвостом, который как плеть обвивался трижды вокруг туловища. Кошка эта, по словам Варюши, бессменно сидела за печкой, в большой печуре, и когда Варе случалось проходить мимо нее, то кошка умильно на нее поглядывала, поводила усами, скалила зубы, помахивала хвостом около шеи и протягивала к девочке длинную, мохнатую свою лапу с страшными железными когтями, которые как серпы высывались из-под пальцев. Малютка Варя признавалась, что, несмотря на величину и уродливость этой кошки, она вовсе не боялась ее и сама иногда протягивала к ней ручонку и брала ее за лапу, которая, сдавалось Варе, была холодна как лед.

Старики ахнули и смекнули делом, что у них в доме поселилась Кикимора; и хотя не видели от нее никакого зла, а все только доброе, однако же, как люди набожные не хотели терпеть у себя в дому никакой нечисти. У нас был тогда в деревне священник, отец Савелий, вечная ему память. Нечего сказать, хороший был человек: исправлял все требы как нельзя лучше и никогда не требовал за них лишнего, а еще и своим готов был поступиться, когда видел кого при недостатках; каждое воскресенье и каждый праздник просто и внятно говаривал он проповеди и научал прихожан своих, как быть добрыми христианами, хорошими домоводцами, исправно платить подати государю и оброк помещику; сам он был человек трезвенный и крестьян уговаривал отходить подальше от кабака, словно от огня. Одно в нем было худо: человек он был ученый, знал много и все толковал по-своему:

– А разве крестьяне ему не верили?

– Ну, верили, да не во всем, батюшка барин. Бывало, расскажут ему, что ведьма в белом саване доит коров в таком-то доме, что там-то видели оборотня, который прикинулся волком либо собакой; что в такой-то двор, к молодежи, летает по ночам огненный змей; а батя Савелий, бывало, и смеется, и учнет толковать, что огненный змей – не змей, а... не припомню, как он величал его: что-то похоже на мухомор; что это-де воздушные огни, а не сила нечистая; напротив-де того, эти огни очищают воздух; ну, словом, разные такие затеи, что и в голову не лезет. Это и взорвет прихожан; они и твердят между собою: батя-де наш от ученья ума рехнулся.

– Глупцы же были ваши крестьяне, друг Фаддей!

– Было всякого, милосердый господин: ум на ум не приходит; были между ними и глупые люди, были и себе на уме. Все же они держались старой поговорки: отцы-де наши не глупее нас были, когда этому верили и нам передали свою старую веру.

– Вижу, что благомыслящий священник не скоро еще вобьет вам в голову, чему верить и чему не верить. Об этом надобно б было толковать сельским ребятам с тех лет, когда у них еще молоко на губах не обсохло; а старым бабам запретить, чтоб они не рассевали в народе вздорных и вредных суеверий.

– Как вашей милости угодно, – проворчал Фаддей и молча начал потрогивать вожжами.

– Что ж ты замолчал? рассказывай дальше.

– Да, может быть, мои простые речи не под стать вашей милости, и у вас от них, как говорится, уши вянут?.. Мы, крестьяне, всегда спроста сохрем что-нибудь такое, что барам придется не по нутру.

– И, полно, приятель: видишь, я тебя охотно слушаю, и ты славно рассказываешь. Неужели ты доброю волею отступишься от гривенника на водку, который я тебе обещал?

– Ин быть по-вашему, батюшка барин, – промолвил Фаддей, веселее и бодрее прежнего. – Вот видите ли, старики и взмолились отцу Савелью, чтоб он отмолил дом их от Кикиморы. А отец Савелий и давай их журить: толковал им, что и старикам, и девочке, и всей семье только мерещилось то, чему они будто бы сдуру верили; что Кикимор нет и не бывало на свете и что те попы, которые из своей корысти потворствуют бабым сказкам и народным поверьям, тяжко грешат перед богом и недостойны сана священнического. Старики, повеся нос, побрели от священника и не могли ума приложить, как бы им выжить от себя Кикимору.

В селении у нас был тогда управитель, не ведаю, немец или француз, из Митава. Звали его по имени и по отчеству Вот-он Иванович, а прозвища его и вовсе пересказать не умею. Земский наш Елисей, что был тогда на конторе, в Дреком доме, называл его еще господин фон-барон. Этот фон-барон был великий балагур: когда, бывало, отдыхаем после работы на барщине, то он и пустится в рассказы: о заморских людях, ростом с локоть, на козых ножках, о заколдованных башнях, о мертвецах, которые бродят в них по ночам без голов, светят глазами, щелкают зубами и свистом пугают прохожих, о жар-птице, о больших морских раках, у которых каждая клешня по полуверсте длиною и которых он сам видал на краю света... Да мало ли чего он нам рассказывал: всего не сложишь и в три короба. Говорил он по-русски не больно хорошо: иного в речах его, хоть лоб взрежь, никак не выразишь; а начнет, бывало, рассказывать – так и сыплет речами: инда уши развесишь и о работе забудешь; да он и сам на тот раз не скоро, бывало, о ней вспомнит. Крестьяне были той веры, что у Вот-он Ивановича было много в носу; что до меня, я ничего не заметил, кроме табаку, который он большими напойками набивал себе в нос из старой, закоптелой тавлинки. Он, правда, выдумывал на барском дворе какие-то машины для посева и для молотбы хлеба; только молотильня его чуть было самому ему не размолотила головы, и сколько ни бились над нею человек двенадцать – ни одного снопа не могли околотить; а сеяльная машина на одной борозде высеяла столько, сколько на целую десятину в нее было засыпано. Однако же крестьяне все по-прежнему думали, что в нем сидит бесовщина и что его не достанет только на путное дело. К нему-то на воскресной мирской сходке присоветовали старому Панкрату идти с поклоном и просьбою, чтоб он избавил его дом от вражьего наваждения.

Пантелеич с старухой пустились в барский двор, где жил тогда Вот-он Иванович, и принесли ему, как водится, на поклон барашка в бумажке, да того-сего прочего, примером сказать, рублей десятка на два. Наш иноземец было и зазнался: «Сотна рублоф, менши ни копейка». Насилу усовестили его взять за труды беленькую, и то еще – отдай ему деньги вперед. Да велел он старикам купить три бутылки красного вина: его-де Кикиморы боятся; да штоф рому и голову сахару – опрыскивать и окуривать избу с наговором. Нечего было делать; старик отправил самого проворного из своих внуков на лихой тройке за покупками, и к вечеру как тут все явилось. Пошли с докладом к Вот-он Ивановичу, он и приплелся в дом к Панкрату, весь в черном. Сперва начал отведывать вино, велел согреть воды, отколол большей кусок сахару, положил в кипяток и долил ромом; и это все он отведывал, чтоб узнать, годятся ли снадобья для нашептыванья. Вот как выпил он бутылку виноградного да осушил целую чашку раствору из рому с сахаром, – и разобрала его колдовская сила. Как начал он петь, как начал кричать на каком-то неведомом языке, – ну, хоть святых вон неси! Велел подать четыре сковороды с горячими угольями, всыпал в каждую по щепотке мелкого сахару и расставил по всем четырем углам; после того шептал что-то над бутылками и штофом, взял глоток рому в рот, пустился бегать по избе да прыскать на стены, ломаться да коверкаться, кричать изо всей силы, инда у всех волосы дыбом стали. Так он принимался до трех раз; после сказал, что все нашептанные снадобья должно вынести из дому в новой скатерти и никогда ничего этого не вносить снова в дом; что с ними-де вынесется из дому Кикимора; велел подать скатерть, положил в ее бутылки,

штоф и сахар, поздравил хозяев с избавлением от Кикиморы и понес скатерть с собою, шатаясь с боку на бок, надобно думать, от усталости.

– Что же, Кикимора больше не оставалась в доме Панкратовом?

– Вот то-то и беда, сударь, что вышло наоборот. Видно, что колдовство нашего фон-барона было не в добрый час, или он кудесник только курам на смех, или просто хотел надуть добрых людей и полакомиться на чужой счет; только вышло, как я вам сказал, наоборот. Доселе Кикимора делала только добро: холила ребенка и пряла на хозяйку, никто ее за тем ни видал, ни слышал; а с этих пор, видно ее раздражали шептаньем да колдовством, она стала по ночам делать всякие проказы. То вдруг загремит и затрещит на потолке, словно вся изба рушится; то впотьмах подкатится клубом кому-либо из семейн под ноги и собьет его как овсяный сноп; то, когда все уснут, ходит по избе, урчит, ревет и сопит как медвежонок; то середь ночи запрыгает по полу синими огоньками...

Словом, что ночь, то новые проказы, то новый испуг для семьи. Одну только маленькую Варю она и не трогала; и ту перестала обмывать и чесать, а часто на рассвете находили, что ребенок спал головою вниз, а ногами на подушках.

Так билась бедная семья круглый год. В один день пришла к ним в дом старушка нищая, вся в лохмотьях, и лицо у нее сжалось и сморщилось, словно сушеная груша или прошлогоднее яблоко от морозу. Тетка Емельяновна, как вы уже слышали, сударь, была старуха добрая и любила наделять нищую братию. Посадила она божью странницу за стол, накормила, напоила, дала ей денег алтын пять и наделила ее платьишком. Вот нищая и начала молить бога за всю семью; а после молвила: «Вижу, православные христиане, что господь бог наградил вас своею милостью: дом у вас как полная чаша; только не все у вас в дому здорово». – «Ох! так-то нездорово, что и не приведи бог! – отвечала тетка Марфа. – Посадили к нам, зная недобрые люди из зависти, окаянную Кикимору; она у нас по ночам все вверх дном и ворочает». – «Этому горю можно помочь; у вас не без старателей. Молитесь только богу да сделайте то, что я вам скажу: все как рукою снимет». – «Матушка ты наша родная! – взмолилась ей Емельяновна. – Чем хочешь поступимся, лишь бы эту нечисть выжить из дому». – «Слушайте ж, добрые люди! Сегодня у нас воскресенье. В среду на этой неделе, ровно в полдень, запрягите вы дровни... Да, дровни; не дивитесь тому, что нынче лето; этому так быть надобно... Запрягите вы дровни четом, да не парой...» – «Как же этому можно быть, бабушка? – спросил середний внук Панкратов, молодой парень лет семнадцати и, к слову сказать, большой зубоскал. – Ведь что чет, что пара – все равно!» – «Велик, парень, вырос, да ума не вынес, – отвечала ему старуха нищая, – не дашь домолвить, а слова властно с дуба рвешь. Вот как люди запрягают четом, да не парой: в корень впрягут лошадь, а на пристяжку корову, или наоборот: корову в корень, а лошадь на пристяжку. Сделайте же так, как я вам говорю, и подвезите дровни вплоть к сеням; расстелите на дровнях шубу шерстью вверх. Возьмите старую метлу, метите ею в избе, в светлице, в сенях, на потолке под крышей и приговаривайте до трех раз: „Честен дом, святые углы! отметайтесь вы от летающего, от плавающего, от ходящего, от ползущего, от всякого врага, во дни и в ночи, во всякий час, во всякое время, на бесконечные лета, отныне и до века. Вон, окаянный!“ Да трижды перебросьте горсть земли чрез плечо из сеней к дровням, да трижды сплюньте; после того свезите дровни этою ж самою упряжью в лес и оставьте там и дровни, и шубу: увидите, что с этой поры вашего врага и в помине больше не будет». – Старики поблагодарили нищую, наделили ее вдесятеро больше прежнего и отпустили с богом.

В эти трое суток, от воскресенья до среды, Кикимора, видно почуяв, что ей не ужиться дольше в том доме, шалила и проказила пуще прежнего. То посуду столкнет с полка, то навалится на кого в ночи и давит, то лапти все соберет в кучу и приплетет их. одни к другим бичевками так плотно, что их сам бес не распутает; то хлебное зерно перетаскает из сушилки на ледник, а лед из ледника на сушило. В последний день и того хуже: целое утро даже не было никому покою. Весь домашний скарб был переверочен вверх дном, и во всем доме не оста-

лось ни кринки, ни кувшина неразбитого. Страшнее же всего было вот что: вдруг увидели, что маленькая Варя, которая играла на дворе, остановилась среди двора, размахнув ручонками, смотрела долго на кровлю, как будто бы там кто манил ее, и, не спуская глаз с кровли, бросилась к стене, начала карабкаться на нее как котенок, взобралась на самый гребень кровли и стала, сложа ручонки, словно к смерти приговоренная. У всей семьи опустились руки; все, не смигивая, смотрели на малютку, когда она, подняв глаза к небу, стояла как вкопанная на самой верхушке, бледна как полотно, и духу не переводила. Судите же, батюшка барин, каково было ее родным видеть, что малютка Варя вдруг стремглав полетела с крыши, как будто бы кто из пушки ею выстрелил! Все бросились к малютке: в ней не было ни дыхания, ни жизни; тело было холодно как лед и заостенело; ни кровинки в лице и по всем составам; а никакого пятна или ушиба заметно не было. Старуха бабушка с воем понесла ее в избу и положила под святыми; отец и мать так и бились над нею; а старик Панкрат, погоревав малую толику, тотчас хватился за ум, чтоб им доле не терпеть от дьявольского наваждения. Велел внукам поскорее запрягать дровни, как им заказывала нищая, и подвезти к сеним; а сам приготовил все, как было велено, и ждал назначенного часа. На старика и внуков его, бывших тогда на дворе, сыпались черепья, иверни кирпичей и мелкие каменья; а женщин в избе беспрестанно пугал то рев, то гул, то вой, то страшное урчанье и мяуканье, словно со всего света кошки сбежались под одну крышу. То потолок начинал дрожать: так и перебирало всеми половицами и сквозь них на голову сеяло песком и золою. Все бабы, лепясь одна к другой, сжались около тела маленькой Вари и дух притаили. Так прошло не ведаю сколько часов. Вот на барском дворе зазвонили в колокол. Это бывало всегда ровно в полдень, когда садовых работников сзывали к обеду. Пантелеич опрометью кинулся в избу, схватил метлу – и давай выметать да твердить заговор, которому нищая его научила. Проказы унялись; только мяуканье, и фыркание, и детский плач, и бабий вой раздавались по всем углам. Скоро и этого не стало слышно: обе избы, светлицы, потолки и сени были выметены; старик трижды бросил через плечо землю горстями, трижды плюнул и велел двоим внукам взять лошадь и корову под уздцы да вести их с дровнями со двора, вон из деревни, через выгон и к лесу. На дворе и по улице столпились крестьяне целой деревни, все, от мала до велика, и провожали Кикимору до самого леса...

– И ты был тут же?

– Как не быть, батюшка барин. И теперь помню, что меня в жаркую пору такой холод пронял со страху, что зуб на зуб не попадал; а за ушами так и жало, словно кто стягивал у меня кожу со всей головы.

– Да видел ли ты Кикимору?

– Нет, грех сказать, не видал. Видел только дровни, а на них тулуп овчиной вверх; больше ничего.

– Кто ж ее видел?

– Да бог весть! Сказывала мне, правда, тетка Афимья, спустя после того годов с десятков, будто она слышала от соседки, а та от своей золовки, что была у нас тогда в селе одна старуха, про которую шла слава, что она мороковала колдовством и часто видала то, чего другие не видели; и что эта-де старуха видела на дровнях большую-пребольшую серую кошку с белыми крапинами; что кошка эта сидела на тулупе, сложа все четыре лапы вместе и ошестиня шерсть, сверкала глазами и страшно скалила зубы во все стороны. Как бы то ни было, только с сей поры ни в Панкратовом доме, ни в целой деревне и слыхом не слыхали больше про Кикимору.

– Радуюсь и поздравляю вашу деревню... А что ж было с малюткою Варей?

– Бедняжка все лежала как мертвая. Старики и вся семья поплакали над нею и хотели ее похоронить. Позвали отца Савелья. Он посмотрел на тело и сказал, что малютке сделался младенческий припадок, словно от испугу, и ни за что не хотел ее хоронить до трех суток. Через три дня, в воскресенье, та же старушка нищая постучалась у окна в Панкратовом доме; ее впустили. Емельяновна рассказала ей всю подноготную и повела ее в светлицу, где лежало тело

Варюши. Нищая велела его переложить со стола на лавку, поставила икону подле изголовья, затеплила свечку, села сама у изголовья, положила голову ребенка к себе на колени и обхватила ее обеими руками. После того выслала она всю семью из светлицы, и даже вон из избы. Что она делала над ребенком, она только сама знает; а через несколько часов Варя очнулась как вострепанная и к вечеру играла уже с другими детьми на улице.

– Ну, что же далее?

– Да больше ничего, сударь. Все пошло с тех пор подобру-поздорову.

– Благодарствую, друг мой, за сказку: она очень забавна.

– Гм! какая вам, сударь, сказка; а бедной-то семье вовсе было не забавно во время этой передраги.

– Но послушай, приятель: ведь ты сам не видал Кикиморы?

– Нет. Я уж об этом докладывал вашей милости.

– И Петр, и Яков, и все крестьяне вашей деревни тоже ее не видали?

– Вестимо, так!

– Что же рассказывал о ней сам старик Панкрат?

– Ничего, до гробовой своей доски. Еще, бывало, и осердится, старый хрен, как поведут об этом слово, и вскинется с бранью: «Вздор-де вы, ребята, мелете, только на мой дом позор кладете!» И детям и внукам, видно, приказал об этом говорить: ни от кого из них, бывало, не добьешься толку... Так она, проклятая, напугала старика.

– Так я тебе объясню все дело; слушай. Старые бабы или завистники Панкратовы взвели на дом его небылицу, потому что на семью его нельзя было выдумать какой-либо клеветы. Эту небылицу разнесли они по всей деревне; вам показалось то, чего вы на самом деле не видели, а поверили чужим словам. Молва эта удержалась у вас в селении; старухи твердят ее малым ребятам, и, таким образом, она переходит от старшего к младшему... Вот и вся истерия твоей Кикиморы.

– Моей, сударь? Упаси меня бог от нее...

Тут Фаддей перекрестился и вслед за тем прикрикнул на лошадей, замахал кнутом и помчал во весь дух. Со всем моим старанием я не мог от него добиться более ни слова. В таком упрямом молчании довез он меня до следующей станции, где так же молчаливо поблагодарил меня поклоном, когда я отдал ему условленные сверх прогонов деньги.

Бродящий огонь *(Из Малороссийских былей и небылиц)*

Скачет, летит богатырь к Киеву. На богатыре доспехи вороненые, и булатный меч его, висящий на серебряной цепи, тяжело бьет по ребрам коня борзого, богатырева товарища верного. Не с пышного пира княжеского возвращается витязь: возвращается он с пира кровавого, где острый меч его начертал глубокими браздами на телах касожских имя Велесилов.

Скачет, летит богатырь к Киеву. Там ждет его невеста верная Милава прекрасная. Давно уже витязь и дева юная обменялись кольцами; и только война суровая разлучила на время два сердца, тлевшие пламенем чистым, предпразднеством пламенников брачных.

Но что за синий перелетный огонек мелькает в туманной мгле зыблющимся светом? Витязь ограждает себя крестным знамением, думая, что-то был дух, искустель путников; но огонек не исчезает и далее, далее переносится с приближением Велесилов.

– Если ты дух, то исчезни; если чародей, то яви свою враждебную силу в борьбе со мною! – воскликнул витязь и бодро пустился вслед за обманчивым сиянием. Борзый конь, храпя, перескакивает чрез ограду, и витязь мчится по могилам, и синий огонек перелетает с одной на другую, беспрестанно уносясь от витязя.

Печально было место, где скакал тогда богатырь: то было селение усопших – кладбище мирное. Вот синий огонек на одной могиле затеплился постоянным светом. Витязь туда... то была свежая могила – примятый дерн еще не успел подняться на ней ковром бархатным. И вдруг синий огонек исчез – и густой мрак охватил окрестность.

Конь богатыря храпел и, приклонив голову, бил копытом землю. Вещая тоска впиалась в ретивое сердце; витязь молвил: «Не добро ты чуешь, борзый конь, верный мой товарищ! не к радости ты занываешь, бедное сердце! Видно, здесь положен предел пути моему; видно здесь похоронены все мои радости».

И сошед с коня, витязь припал к кресту могильному, как будто в нем только видел все родное в жизни. Конь стоял по-прежнему с поникшей головою и бил копытами землю. Долго грустные думы сменялись в душе Велесилов; наконец легкий сон спорхнул на его вежды.

И видит он: из райских сеней, из садов вечнозеленых выглядывает лик Милавы, сияющий зарею бессмертия. Милава приветливою, неземной улыбкой манит к себе жениха своего... И вдруг ужасный гром разразившись в воздухе, упал огненной струею и прервал видение: Конь взвился на дыбы; но витязь сидел недвижим.

Тихое утро ясно горело после бурной ночи. Люди пришли на кладбище отдать последний долг одному усопшему собрату. Они нашли Велесилов мертвого на могиле прекрасной Милавы.

В поле съезжаются, родом не считаются

Жил-был на святой Руси близ каменной Москвы мужичок богатенок, а норовом крутенок, звали его Сидором Пахомовым; а у того Сидора был работник Елеся, ходил губы развеса. Люди крещеные толковали, что Елеся был простоват; красные девушки над ним подсмеивались, и прослыл он по всему миру сельскому дурачком бессчетным.

Вот однажды сбежали у хозяина его со двора кони, и послал он Елесю тех коней перенять и во двор пригнать. Вышел Елеся за село чуть на дворе рассвело, еще и красное солнышко не вошло; и видит Елеся: пасется за селом на выгоне клячонка попа Ерофея. И взмолил Елеся: «Не прогневайся, поп Ероха, пешком идти доброму молодцу плохо: за борзыми конями не угоняешься, а только упреешь да умаешься».

И взнуздal Елеся попову клячонку, сел на нее, едет да погоняет, да песенки попевает; и выехал он на чистое поле, на широкое раздолье; трюх да трюх, скачет на волю божью куда глаза глядят. Взял он из дому пук веревок, чтобы стреножить хозяйских коней, коли отыщет; и те веревки повесил он себе на шею, топор заткнул за пояс, а косу перекинул через плечо. И вот едет да погоняет, да песенки попевает; и наехал он на такое место, откуда три дороги разбегались в три разные стороны: одна шла направо, другая налево, а третья посредине.

И взяло раздумье доброго молодца: по какой путь-дороге ему пуститься? Думал, думал – и пустился по средней; едет да погоняет, да песенки попевает.

Вот навстречу ему скачет и пылит, инда небо коптит басурман Калга Татарской; крикнул-гаркнул молодецким покриком: «Прочь с дороги, мужичишка серый! не то – у меня коротка расправа: хвачу тебя слева да справа, так и дух вон, и башка долой».

И возговорил ему Елеся: «В поле съезжаются, родом не считаются. Коли ты богатырь, а не мыльный пузырь, так выходи со мной переведаться и силами померяться».

И крикнул-гаркнул басурман Калга Татарской: «Ох ты серый мужичишка, глупый твой умишка! Когда такие дива бывали, чтоб крестьяне богатырей на бой вызывали? Да я тебя и саблей не уважу, одной нагайкой слажу».

А Елеся ему на то ответил: «Ах ты неразумная бритая башка татарская! Идти на рать – не песню орать: хвались тогда, как сможешь; а бог даст, и сам буйную голову положишь».

И взбесился сердитый Калга-богатырь, бровью моргнул, усом шевельнул и саблей взмахнул; а Елеся перекрестился, с клячонки на землю спустился, к басурману подскочил, косою по шее хватил, словно былинку скошил; и пал богатырь Калга на сыру-землю как овсяный сноп, а Елеся его как липку облупил и белое его тело под кустом схоронил; сам в басурманово платье оделся и на борзом калгином коне уселся; едет да погоняет, да песенки попевает.

И видит: среди поля раскинуты шатры мурзовецкие и в тех шатрах рать-сила великая, а вокруг шатров пасутся коней табуны несметные.

И крикнул-гаркнул Елеся молодецким покриком на всю рать-силу басурманскую: «Гой-еси вы, татаре ордынские! Я ваш воевода Калга-богатырь. Чтобы мигом-летом готово мне было что ни лучших коней три дюжины, со всею сбруей золоченою; а гнали бы их за мною два татарина в смирном платье, без доспехов богатырских».

Вот поехал Елеся впереди, а татаре позади коней за ним гонят и перед ним буйные головы клонят. И привел их Елеся в свое село, в ту пору как мир крещеный шел от службы божией; и кликнул Елеся знакомых крестьян, своим именем сказался и честным крестом ограждался; и по его слову крестьяне тех двоих татар схватили, связали да в темный погреб посадили.

А из добытых коней подарил Елеся тройку своему прежнему хозяину Сидору Пахомову, да пару попу Ерофею; остальных же и со всей сбруей продал в каменной Москве и на те деньги стал жить да поживать, худо сбывать, да добро наживать.

Киевские ведьмы

Повесть

Молодой казак Киевского полка Федор Блискавка возвратился на свою родину из похода против утеснителей Малороссии, ляхов. Храбрый гетман войска малороссийского Тарас Трясила после знаменитой Тарасовой ночи, в которую он разбил высокомерного Конецпольского, выгнал ляхов из многих мест Малороссии, очистив оные и от коварных подножков польских, жидов-предателей. Много их пало от руки ожесточенных казаков, которые, добивая их, напевали то же самые ругательства, каковыми незадолго пред тем жида оскорбляли православных. Все было припомнано: и наущничество жидов, и услужливость их полякам, и мытарство их, и содержание на аренде церковей божиих, и продажа непомерною ценой святых пасох к светлому христову воскресению. Само по себе разумеется, что имущество сих малодушных иноверцев было пощажено столь же мало, как и жизнь их. Казаки возвратились в дома свои, обременись богатою добычей, которую считали весьма законною и которую летописец Малороссии оправдывает в душе своей, рассудив, сколь несправедливо было стяжание выходцев иудейских. Это было справедливым возмездием за утеснения; и в сем случае казаки, можно сказать, забирали обратно свою собственность.

Те, которые знали Федора Блискавку как лихого казака, догадывались, что он пришел домой не с пустыми руками. И в самом деле, при каждой расплате с шинкарей или с бандуристами он вытаскивал у себя из кишени целую горсть дукатов, а польскими злотыми только что не швырял по улицам. При взгляде на золото разгорались глаза у шинкарей и крамарей; а при взгляде на казака разгорались щеки у девиц и молодежи. И было отчего: Федора Блискавку недаром все звали лихим казаком. Высокий его рост с молодецкою осанкой, статное, крепкое сложение тела, черные усы, которые он гордо покручивал, его молодость, красота и завзятость хоть бы кому могли вскружить голову. Мудрено ли, что молодые киевлянки поглядывали на него с лукавою, приветливою усмешкой и что каждая из них рада была, когда он заводил с нею речь или позволял себе какую-нибудь незазорную вольность в обхождении?

Перекупки на Печерске и на Подоле знали его все, от первой до последней, и с довольными лицами перемигивались между собою, когда, бывало, он идет по базару. Они ждали этого как ворон крови, потому что Федор Блискавка из казацкого молодчества расталкивал у них лотки с кнышами, сладостями либо черешнями и раскатывал на все стороны большие вороха арбузов и дынь, а после платил за все вдвое.

– Что так давно не видать нашего завзятого? – говорила одна из подольских перекупок своей соседке. – Без него и продажа не в продажу: сидишь, сидишь, а ни десятой доли в целый день не выручишь того, чем от него поживишься за один миг.

– До того ли ему! – отвечала соседка, – Видишь, он увивается около Катруси Ланцюговны. С нею теперь спознался, так и на базарах не показывается.

– А чем Ланцюговна ему не невеста? – вмешалась в разговор их третья перекупка. – Девчина как маков цвет; поглядеть – так волей и неволей скажешь: красавица! Волосы как смоль, черная бровь, черный глаз, и ростом и статью взяла; одна усмешка ее с ума сводит всех парубков. Да и мать ее – женщина не бедная; скупа, правда, старая карга! зато денег у нее столько, что хоть лопатой гребь.

– Все это так, – подхватила первая, – только про старую Ланцюжиху недобрая слава идет. Все говорят – наше место свято! – будто она ведьма.

– Слыхала и я такие слухи, кумушка, – заметила вторая. – Сосед Панчоха сам однажды видел своими глазами, как старая Ланцюжиха вылетела из трубы и отправилась, видно, на шабаш...

– Да мало ли чего можно о ней рассказать! – перебила ее первая. – Вот у Петра Дзюбенка извела она корову, у Юрчевских отравила собак за то, что одна из них была ярчук [*Ярчук – собака, родившаяся с шестью пальцами и, по малороссийскому поверью, имеющая природный дар узнавать ведьм во духу, даже кусать их.*] и узнавала ведьму по духу. А с Ничипором Проталием, поссорившись за огород, сделала то, что не приведи бог и слышать.

– Что, что такое? – вскричали с любопытством две другие перекупки.

– Ну, да уж что будет, то будет, а к слову пришлось рассказать. Старая Ланцюжиха испортила Ничипорову дочку так, что хоть брось. Теперь бедная Докийка то мяучит кошкой и царапается на стену, то лает собакой и кажет зубы, то стрекочет сорокой и прыгает на одной ножке...

– Полно вам щебетать, пустомели! – перервала их разговор одна старая перекупка с недобрый видом, поглядывая на всех такими глазами, с какими злая собака рычит на прохожих. – Толковали бы вы про себя, а не про других, – продолжала она отрывисто и сердито. – У вас все пожилые женщины с достатком – ведьмы; а на свои хвосты так вы не оглянетесь.

Все перекупки невольно вскрикнули при последних словах старухи, но мигом унялись, ибо не смели с нею ссориться: про нее тоже шла тишком молва, что и она принадлежала к кагалу киевских ведьм.

Нашлись, однако же, добрые люди, которые хотели предо стеречь Федора Блискавку от женитьбы на Катрусе Ланцюговне; но молодой казак смеялся им в глаза, отнюдь не думая отстать от Катруси. Да как было и верить чужим наговорам? Милая девушка смотрела на него так невинно, так добросердечно, улыбалась ему так умильно, что хотя бы целый Киев собрался на площади у Льва и присягнул в том, что мать ее точно ведьма, – и тогда бы Федор не поверил этому.

Он ввел молодую хозяйку в свой дом. Старая Ланцюжиха осталась в своей хате одна и отказалась от приглашения своего зятя перейти к нему на житье, дав ему такой ответ, что ей, по старым ее привычкам, нельзя было б ужиться с молодыми людьми. Федор Блискавка не мог нарадоваться, глядя на милую жену свою, не мог нахвалиться ею. И жаркие ласки, и пламенные поцелуи, и угодливость ее мужу своему, и досужество в домашнем быту – все было по сердцу нашему казаку. Странно казалось ему только то, что жена его среди самых сладостных излиятий супружеской нежности вдруг иногда становилась грустна, тяжело вздыхала и даже слезы навертывались у ней на глазах; иногда же он подмечал такие взоры больших, черных ее глаз, что у него невольно холод пробежал по жилам. Особливо замечал он это под исход месяца. Тогда жена его делалась мрачною, отвечала ему коротко а неохотно, и, казалось, какая-то тоска грызла ее за сердце. В это время все было не по ней: и ласки мужа, и приветы друзей его, и хозяйственные заботы; как будто божий мир становился ей тесен, как будто она рвалась куда-то, но с отвращением, с крайним насилием самой себе и словно по некоторому непреодолимому влечению. Порой заметно было, что она хотела в чем-то открыться мужу; но всякой раз тяжкая тайна залегала у пей в груди, теснила ее – и только смертная бледность, потоки слез и трепет всего ее тела открывали мужу ее, что тут было нечто не просто: более никакого признания не мог он от нее добиться. Катруся, вдруг овладев собою, оживлялась, начинала смеяться, играть как дитя и ласкать своего мужа больше прежнего; потом уверяла его, что это был болезненный припадок от порчи, брошенной на нее с малолетства дурным глазом какой-то злой старухи, но что это не бывает продолжительно. Федор верил ей, потому что любил жену свою и сверх того видал примеры подобной порчи или болезни.

Однако под исход месяца, с наступлением ночи всегда замечал он в жене своей необыкновенное беспокойство. Она, видимо, начинала чего-то бояться, поминутно вздрагивала и бледнела час от часу более. Хотел он дознаться причины тому, но это было сверх сил его: всякой раз, когда он с вечера подмечал в Катрусе какое-то душевное волнение, какую-то скрытую тревогу, – неразгадаемый, глубокий сон одолевал его, лишь только он припадал головою к подушкам. Сам ли он догадался, или добрые люди надоумили, только однажды в такую ночь

под исход месяца Федор, ложась в постелю, начал шарить рукой у себя под подушкой и нашел узелок каких-то трав. Едва он дотронулся до них рукою, вдруг почувствовал, что рука стала тяжелеть и кровь утихать в ней мало-помалу, как будто засыпая. Жена его на тот раз была занята хозяйственными хлопотами и не примечала за ним. Федор мигом отдернул форточку у окна и выбросил узелок. Дворная собака, лежавшая на приспе вероятно, думала, что бросили ей кость или другую поживу; она встала, отряхнулась, с одного скачка очутилась над узелком и начала его обнюхивать; но только что понюхала, как зашаталась, упала и заснула крепким сном. «Эге! так вот от чего и я спал, дорогая моя жenuшка!» – подумал Федор. Сомнения его отчасти подтвердились; но чтобы совершенно убедиться в ужасной тайне и не навести подозрения жене своей, он притворился спящим и храпел так, как будто бы трое суток провел без сна. Катруся, возвратясь из клетки, куда она выносила остатки ужина, подошла к своему мужу, положила руку на его грудь, поглядела ему в лицо и, тяжело вздохнув, отошла к печи. Федор Блискавка, не переставая храпеть изо всей силы, открыл до половины глаза и следил ими за своей женою. Он видел, как она развела в печи огонь, как поставила на уголья горшок с водою, как начала в него бросать какие-то снадобья, приговаривая вполголоса странные, дикие для слуха слова. Внимание Федора увеличивалось с каждою минутой: страх, гнев и любопытство боролись в нем; наконец последнее взяло верх. Притворяясь по-прежнему спящим, он высматривал, что будет далее.

Когда в горшке вода закипела белым ключом, то над ним как будто прошумела буря, как будто застучал крупный дождь, как будто прогремел сильный гром; наконец, раздалось из него писклявым и резким голосом, похожим на визг железа, чертящего по точилу, трижды слово: «Лети, лети, лети!» Тут Катруся поспешно натерлась какой-то мазью и улетела в трубу.

Дрожь проняла бедного казака, так что зуб на зуб не попадал. Теперь уже нет больше сомнения: жена его ведьма; он сам видел, как она снаряжалась, как отправилась на шабаш. На что решиться? В тогдашнем волнении чувств и тревоге душевной он ничего не мог придумать, даже не до ставало у него ни на что смелости; лучше отложить до следу ющего раза, чтоб иметь время все обдумать, ко всему при готовиться и запастись отвагой. Так он и решился. Однако же бессонница сто мучила, страх прогонял дремоту; ему все чудились какие-то отвратительные пугалища. Он ворочался на постеле, потом встал и ходил по хате; напрасно! сон бежал от него, в хате ему было душно. Он вышел на чистый воздух; тихая, прохладная ночь немного освежила его; месяц последним, бледным светом своим как будто прощался с землею до нового возрождения. При его чуть брезжущем свете Федор увидел спавшую собаку и подле ней заколдованный узелок. Чтоб избавиться от тяжелой бессонницы и скрыть от жены своей, что он проник в ее тайну, Федор поднял узелок двумя щепками; и вмиг собака встрепенулась, вскочила, потрясла головой и начала ласкаться к своему хозяину. Не теряя времени, молодой казак возвратился в хату, положил узелок под изголовье, прилег на него и заснул как убитый.

Когда он открыл глаза, то увидел, что Катруся лежала подле него. На лице ее не было заметно даже и следов вчерашнего иступления, ни в глазах ее той неистовой дикости, с которою она делала заклинания свои. Какая-то томная нега, какая-то тихая радость отражались в ее взорах и улыбке. Никогда еще не расточала она столько страстных поцелуев, столько детских ласк своему мужу, как в это утро. Словом: она была молодая, милая и любящая женщина, творение бесхитростное и младенчески-резвое, но отнюдь не та страшная чародейка, которую муж ее видел ночью. И казалось, это не было и не могло быть в ней притворством: она дышала только для любви, видела все счастье жизни только в милом друге своем. Уже казак начал колебаться мыслями: вправду ли случилось то, чему он был свидетелем? не сон ля такой привиделся ему ночью? не злой ли дух смущал его страшными грезами, чтобы отвратить его сердце от жены любимой?

Прошел и еще месяц. Катруся во все это время по-прежнему была домовитою хозяйкою, милою, веселою молодичей, ласковою, услужливою женой. Однако же Федор Блискавка обду-

мывал втайне, что должно ему было делать, и наконец надумался. Под исход месяца стал он прилежнее наблюдать за своей женою и заметил в ней те же самые признаки: и слезы, и тяжкие вздохи, и тайную тоску, и отвращение от всего, даже от ласк ее мужа, и порою дикий, неподвижный взор. Еще с вечера Федор объявил, что ему было душно в хате, и отворил оконце; когда же ложился в постелю, то, запустив руку под изголовье, выхватил узелок и выбросил его на двор с такою же быстротою, с какою обыкновенно отбрасывал он горящий уголь, когда доставал его из печи, чтоб закурить трубку. Все это было исполнено мигом, так, что Катруся никак не могла сего заметить. Радуюсь успеху, казак притворился спящим и захрапел, как и в первый раз. Жена таким же образом подошла к постели и поглядела ему в лицо, положила руку на его грудь, наклонилась, поцеловала мужа своего, и он почувствовал, что горячая слеза упала ему на щеку. Потом, с тяжким вздохом, и отирая себе глаза рукавом тонкой сорочки, она принялась за богоотступное свое дело. Внимание казака, подкрепляемое твердою его решимостью и отвагой, на сей раз удвоилось. Он присматривался, где и какие снадобья брала жена его, вслушивался в чудные слова и затвердил их. Уже ничто не было ему страшно: ни пламенное, неистовое лицо и сверкающие глаза жены, ни рев бури, ни гром, ни резкий, отвратительный голос из горшка. И едва молодая ведьма исчезла в трубу, муж ее вскочил с постели, подбросил новых дров на потухавшие уголья, налил свежей воды в горшок и поставил его на огонь. Потом отыскал небольшой ларец, спрятанный под лавкою в подполье и закладенный камнями раскрыл его – и остоленел от ужаса и омерзения. Там были человеческие кости и волосы, сушеные нетопыри и жабы, скидки змеиной кожи, волчьи зубы, чертовы пальцы, осиновые уголья, кости черной кошки, множество разных невиданных раковин, сушеных трав и корней и... всего нельзя припомнить. Победив свое отвращение, Федор схватил полную горсть сих колдовских припасов и бросил их в котел, приговаривая те слова, которые перенял у жены своей. Но когда котел начал кипеть, то Федор почувствовал, что лицо его кривлялось и подергивалось, как от судороги, глаза искосились, волосы поднялись дыбом, в груди как будто кто стучал молотком, и все кости его хрупали в суставах. После сего он пришел в какое-то иступление ума, ощутил в себе непомерную отвагу, нечто похожее на крайнюю степень опьянения; в глазах его попеременно мелькали яркие искры, светлые полосы, какие-то дивные, уродливые призраки; над ним и буря злилась, и дождь шумел, и гром гремел – но он уже ничего не боялся. И когда услышал зычный, резкий голос из горшка и слово: «Лети, лети, лети!», то, не владея собою от бешенства, торопливо схватил коробочку с мазью, натер себе руки, ноги, лицо и грудь... и вмиг какая-то невидимая сила схватила его и бросила в трубу. Это быстрое движение заняло у него дух и отбило память. Когда же он очуствовался, то увидел себя под открытым небом, на Лысой горе, за Киевом...

Что там увидел наш удалой казак, того, верно, кроме его ни одному православному христианину не доводилось видеть; да и не приведи бог! И страх, и смех пронимали его попеременно: так ужасно, так уродливо было сборище на Лысой горе! По счастью, неподалеку от Федора Блискавки стоял огромный костер осиновых дров: он припал за этот костер и оттуда выглядывал, как мышь из норки своей выглядывает в хату, которая наполнена людьми и кошками.

На самой верхушке горы было гладкое место, черное как уголь и голое как безволосая голова старого деда. От этого и гора прозвана была Лысою. Посреди площадки стояли под мостки о семи ступенях, покрытые черным сукном. На них сидел пребольшой медведь с двойною обезьяньего мордой, козлиными рогами, змеиным хвостом, ежовою щетиной по всему телу, с руками остова и кошачьими когтями на пальцах. Вокруг него, поодаль от площадки кипел целый базар ведьм, колдунов, упырей, оборотней, леших, водяных, домовых и всяких чуд невиданных и неслыханных. Там великан жид сидел на корточках перед цымбалами величиною с барку, на которых струны были не тоньше каната; жид колотил по ним большими граблями, потряхивая остроконечною своею бороною, хлопая глазами и кривляя свою рожу, и

без того очень гадкую. Инде целая ватага чертенят, один другого гнуснее и неуклюжее, стучала в котлы, барабанила в бочонки, била в железные тарелки и горланила во весь рот. Тут вереница старых, сморщенных как гриб ведьм водила журавля, приплясывая, стуча гоцки сухими своими ногами, так что звон от костей раздавался кругом, и припевая таким голосом, что хоть уши зажми. Далее долговязые лешие пускались впрысядку с карликами домовыми. В ином месте беззубые, дряхлые ведьмы верхом на метлах, лопатах и ухватах чинно и важно, как знатные паньи, танцевали польской с седыми, безобразными колдунами, из которых иной от старости гнулся в дугу, у другого нос перегибался через губы и цеплялся за подбородок, у третьего по краям рта торчали остальные два клыка, у четвертого на лбу столько было морщин, сколько волн ходит по Днепру в бурную погоду. Молодые ведьмы с безумным, неистовым смехом и взвизгиваньем, как пьяные бабы на веселье, плясали горлицу и метелицу с косматыми водяными, у которых образины на два пальца покрыты были тиной; резвые, шаловливые русалки носились в дудочке с упырями, на которых и посмотреть было страшно. Крик, гам, топот, возня, пронзительный скрип и свисты адских гудков и сопелок, пенье и визг чертенят и ведьм – все это было буйно, дико, бешено; и со всем тем видно было, что сия страшная сволочь от души веселилась.

Федор Блискавка из своей засады смотрел на это, и жутко ему было, так что холод сжимал всю внутренность. Невдалеке от себя увидел он и тещу свою, Ланцюжиху, с одним заднепровским пасечником, о котором всегда шла недобрая молва, и старую Одарку Швойду, торговавшую бубликами на Подольском базаре, с девяностолетним крамарем Артюхом Холозием, которого все почитали чуть не за святого: так этот окаянный ханжа умел прикидываться набожным и смиренником; и нищую калеку Мотрю, побиравшуюся по улицам киевским, где люди добрые принимали ее за юродивую и прозвали Дзыгой; а здесь она шла рука об руку с богатым скрягою, паном Крупкою, которого незадолго перед тем казаки выжили из Киева и которого сами земляки его, ляхи, ненавидели за лихоимство. И мало ли кого там видел Федор Блискавка из своих знакомых, даже таких людей, о которых прежде бы никак не поверил, что они служат нечистому, хоть бы отец родной уверял его в том под присягой. Вся эта шайка пожилых ведьм и колдунов пускалась в плясовую так задорно, что пыль вилась столбом и что самым завзятым казакам и самым лихим молодежи было бы на зависть. Немного в стороне оттуда увидел Федор и свею жену. Катрусия отхватывала казачка с плечистым и круторогим лешим, который скалил зубы и подмигивал ей, а она усмехалась и вилась перед ним, как юла. Федор, в гневе и ревности, хотел бы броситься на нее и на рогатого плясуна и порядком потузить обоих, но, подумав, удержался и сделал умно. Где бы ему было сладить с целым чертовским кагалом, который, верно, напал бы на него, и тогда поминай как звали.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.